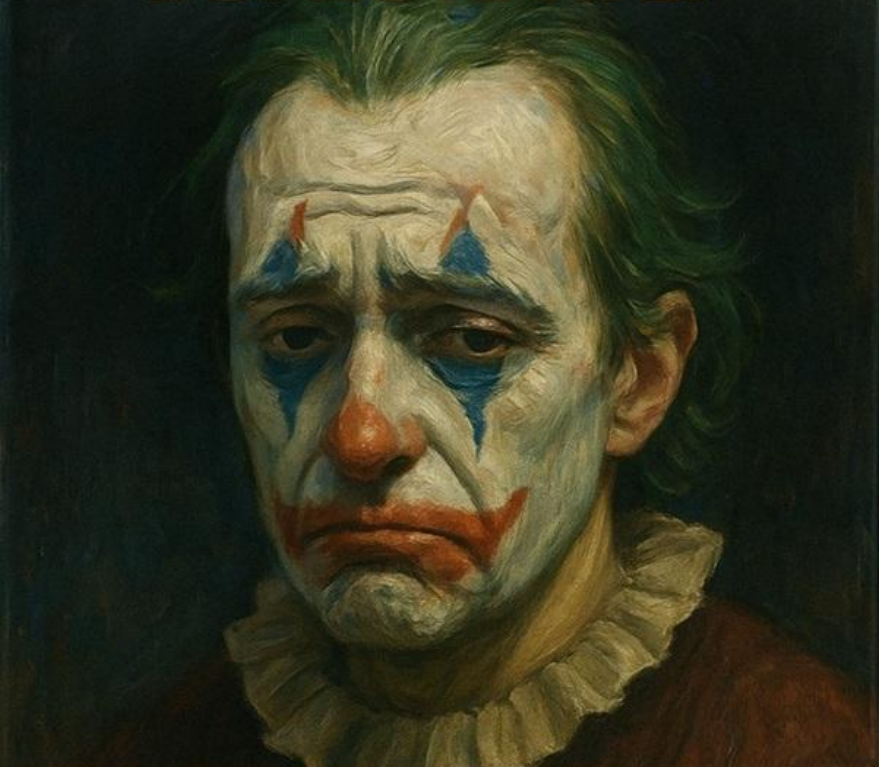


БОРИС КРИГЕР



**Я УСТАЛ БЫТЬ
ИДИОТОМ!**

БОРИС КРИГЕР

Я УСТАЛ
БЫТЬ
ИДИОТОМ!



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to krigerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Я устал быть идиотом!

Это размышление о незаметной, но повсеместной форме насилия — медийной реальности, которая ежедневно формирует ощущение бессилия, тревоги и выученной беспомощности. Через поток глупостей и гадостей, под маской осведомлённости, людям навязывается ложный образ мира, в который никто не верит, но который все продолжают поддерживать. В центре — усталость, нежелание участвовать в спектакле, где правда перестала быть даже возможной. Это и манифест, и исповедь, и попытка вернуть себе голос в мире, где всё кажется бесполезным.

Я УСТАЛ БЫТЬ ИДИОТОМ!

Постоянное ощущение оболваненности, возникающее при столкновении с потоком мировых новостей, всё чаще приобретает характер не кратковременного замешательства, а постоянного внутреннего надрыва. Складывается впечатление, будто каждая строка, каждый заголовок и каждая вспышка очередной информационной ленты не просто сообщает о происходящем, но ловко подменяет действительность, вызывая растерянность и оставляя после себя вкус обмана. Всё чаще внутри начинает зреть ощущение, будто обманывают не просто по мелочи — а целиком, как будто с корнем вырывают веру в то, что знание даёт ясность, а не затуманивает.

В прошлом восприятие новостей было медлительнее, словно покрытое тонкой вуалью времени. Век назад газеты приходили утром или вечером, их читали с чаем или между дел, и в них — даже если скрывался подтекст — существовала дистанция, позволяющая разуму осмыслить сказанное, а не впитать, как яд, сразу в кровь. Тогда и ложь, и манипуляции казались чуть отдалёнными, словно размытыми дождём на оконном стекле, не пронзающими в самое сердце. Сейчас же всё ускорилося до такой степени, что любое событие несётся прямо в лицо, сбивая с ног, не давая времени перевести дух. Из бесконечных экранов и динамиков сыплется всё сразу: паника, надежда, цинизм, жалость, и всё это перемешано в один тугой узел, который не удаётся распутать.

Каждый день приносит с собой не столько знание, сколько ощущение унижения, словно кто-то умышленно конструирует реальность так, чтобы человек чувствовал себя идиотом, запоздавшим, всегда недостаточно понявшим суть. Возникает внутренний конфликт — отвернуться от новостей значит выбрать неведение, а оставаться вовлечённым — всё равно что добровольно открывать рану, в которую будут ежедневно сыпать соль. Это внутреннее раздвоение делает утомлённость не просто усталостью, а глубинной изношенностью, в которой нет спасения ни в информации, ни в её отсутствии. Словно жизнь превратилась в бессрочный экзамен, на котором ни один ответ не признаётся правильным, и даже молчание воспринимается как ошибка.

Ощущение идиотизма не столько отражает реальное положение, сколько становится эмоциональной реакцией на невозможность восстановить контроль. Когда каждый день начинается с того, что кто-то уже что-то знает лучше, раньше, громче, точнее — остаётся только тень от сознания, что все усилия понять происходящее оборачиваются бессилием. Этот навязчивый фон информационного шума разрушает привычные ориентиры, превращая даже самые простые вещи в поле для сомнений. Всё, что раньше казалось очевидным, теперь требует бесконечных проверок, перекрёстных ссылок, критического анализа — и даже после всего этого ощущение обмана не уходит.

Появляется упрямое, глухое желание — не быть больше частью этой гонки, не читать, не слушать, не проверять. Но как только возникает попытка выйти из круга, начинается новая волна сомнений: вдруг в этой тишине

теряется что-то важное, вдруг без новостей пропадёт связь с реальностью. Это напоминает отчаянную игру с самим собой, в которой проигрыш неизбежен, потому что само поле выстроено так, чтобы не могло быть победителя.

Желание выйти за пределы, укрыться в стороне от нескончаемого потока сообщений, новостей и аналитики, возникает не как слабость или отказ, а как болезненное стремление сохранить остатки внутреннего покоя. Это не бегство, а попытка спастись, отстоять последнюю границу между собой и миром, где всё давно уже стало спекуляцией. Однако, чем сильнее стремление к невовлечённости, тем изощрённее оказывается сама структура вовлечения. Информационное поле выстроено не как приглашение к размышлению, а как капкан, захлопывающийся с обеих сторон. Стоит отвернуться — появляется тревога, словно утрачено что-то важное; стоит прислушаться — накатом приходит бессилие, смешанное с раздражением и тяжёлым чувством вины, как будто собственное внимание стало инструментом предательства здравого смысла.

Каждая попытка абстрагироваться натывается на призрачный голос снаружи: а вдруг это важно, а вдруг нельзя оставаться в стороне, вдруг молчание — это одобрение лжи. И тогда снова тянется рука к экрану, взгляд цепляется за бегущую строку, сознание невольно встраивается в этот хоровод смыслов, которые разлетаются в прах, едва попадая в поле зрения. Происходит то, что трудно назвать иначе как размывание «я» — человек уже не может с уверенностью отличить свои мысли от вброшенных извне, не в силах

понять, где заканчивается личное мнение и начинается искусно внедрённая позиция.

Так и образуется внутренний парадокс — идёт постоянное сражение между желанием отстранённости и притяжением к центру событий, при этом и в том, и в другом случае кажется, что сделан неправильный выбор. Если закрыть глаза и отвернуться, рождается ощущение глупости, неосведомлённости, ненужной оторванности от происходящего, граничащей с инфантильностью. Если же смотреть, слушать, читать — приходит не понимание, а глухая злость, вызванная тем, что внутри снова не появилось никакой ясности, только новое сомнение, новая фальшь, новый крюк, брошенный в разум.

Жизнь постепенно превращается в лабиринт из ловушек, где каждое движение рождает ощущение проигрыша. Выбор становится ложным по определению: что бы ни было принято за истину — оно уже кем-то искажено, уже стало частью чужой конструкции. Это расщепление, в котором обе стороны оказываются одинаково ущербными, лишает опоры. Возникает усталость не от содержания, а от самого факта существования контекста, в котором любое действие, даже бездействие, превращается в обвинение.

В этом странном механизме общественного устройства нет явного требования становиться идиотом — никто не указывает пальцем, не выдаёт приказов, не диктует сводок из центра. Всё происходит мягче, тише, почти незаметно. Одобрение, выраженное в форме поощрения, постепенно вытесняет сомнение. Возникает невидимая, но ощутимая атмосфера, в которой не размышление

вознаграждается, а комфортное безразличие. Чем меньше человек задаёт вопросов, тем реже он попадает под удар. Чем охотнее соглашается — тем чаще оказывается внутри социальной воронки, где всё течёт по накатанной, не причиняя лишних беспокойств. И постепенно осознаётся, что статус идиота — не клеймо, а своего рода билет на спокойствие, способ обойти острые углы, получить доступ к участию без необходимости понимать.

Это не физиология и не предел ума — это выученная модель поведения, оттачиваемая годами. Сначала в школе, где правильные ответы важнее понимания, затем в среде, где неуверенность воспринимается как слабость, а рефлексия — как слабый интеллект. Там, где вопросы воспринимаются как деструктивные, а попытка идти вглубь расценивается как угроза устойчивости коллектива, человек учится не думать как методу выживания. В этом отказе от рефлексии, в замещении анализа удобными объяснениями появляется определённая защита — ведь тот, кто не вникает, не страдает. Тот, кто не замечает лжи, не мучается её разоблачением.

Именно поэтому постепенно вживляется роль, где каждый шаг выверен — не потому, что кто-то контролирует, а потому что внутри уже встроена система самонаблюдения. Человек сам приучает себя быть удобным для среды, фильтруя сложность, упрощая смысл, огрубляя восприятие. С каждым повторением эта роль закрепляется всё глубже, становится второй кожей, позволяя адаптироваться, не рискуя внутренней целостностью. И ведь страшнее всего то, что эта роль защищает — она оберегает от боли, от растерянности, от

столкновения с тем, что не имеет ответа.

Процесс этот не происходит мгновенно — он растянут на годы, скрыт под маской вежливости, нормальности, обыденности. На каком-то этапе оказывается, что задавать вопросы уже неприлично, что сомневаться стало неуместно, а настаивать на попытке разобраться — почти опасно. И вот тогда роль идиота окончательно закрепляется, становясь не просто социальной маской, но способом существования, в котором сам отказ от мышления воспринимается как зрелость. В этой системе безопасности мышление становится формой риска, а безмыслие — гарантом покоя.

Когда человек, обладающий способностью к размышлению, прекращает скрывать эту способность — общество напрягается. Не потому, что истина сама по себе пугает, а потому что её прямое присутствие нарушает хрупкий баланс, построенный на договорённостях, на полуправде, на обоюдном молчаливом согласии не задавать лишних вопросов. Умный, вышедший из роли, становится не просто источником дискомфорта — он превращается в угрозу устойчивости. Его слова режут, потому что не вписываются в заранее расчерченную картину, и каждый раз, когда звучит голос, не подстроенный под ожидания, кто-то рядом чувствует себя разоблаченным.

Рассчитывая на идиота, систему выстраивают по принципу наименьшего сопротивления. Это простая формула: чем ниже порог критичности, тем легче управлять вниманием. В подобной схеме даже правда становится лишней — она слишком тяжела, неудобна, многослойна. Её необходимо прятать, запутывать, извращать, потому что прямое предъявление истины

требует от человека не просто реакции, а ответственности. Поэтому создаются версии попроще, образы полегче, конструкции, в которые удобно верить. Они не обязывают к действиям, они ласкают привычку к безразличию. Лучшая защита от правды — подменить её удобным искажением, при этом убедив каждого, что он сам пришёл к выводу. И чем проще мишень, тем проще её убедить.

Среди всех этих социальных конструкций и личных уступок особое место занимает маска. Сначала она надевается из вежливости, из желания не вызывать лишних взглядов, потом — из страха не вписаться, чуть позже — из усталости. В какой-то момент она перестаёт быть временным решением. Она становится частью лица, прирастая к чертам, меняя не только внешний облик, но и внутренние границы. Становится трудно понять, где заканчивается притворство и начинается подлинность. Те, кто носит её слишком долго, начинают верить, что никогда и не были другими. И самое страшное — даже боль от этой маски со временем исчезает, сменяясь привычкой.

Но если в человеке сохраняется хотя бы слабая пульсация осознания, если где-то под слоем приспособленчества ещё теплится память о голосе, звучавшем честно, — тогда тишина становится невыносимой. Тогда каждый жест, каждое слово, произнесённое в угоду, начинает отдаваться внутри эхом отречения. В таких условиях притворство перестаёт быть лёгкой ролью — оно становится ермом, стягивающим дыхание. И тогда единственным способом вернуться к себе оказывается насильственное, болезненное, но необходимое срывание этой маски, даже

если под ней осталась обнажённая, уязвимая плоть, не привыкшая к свету.

Образованность, не подкреплённая способностью к сомнению, превращается в инструмент сокрытия, а не раскрытия. Когда глупость сопряжена с невежеством, она заметна — с ней можно спорить, её можно опровергнуть. Но когда за фасадом грамотной речи и аккуратной аргументации прячется сознательная подмена, разложение смысла происходит гораздо глубже. Такой идиотизм — это не недостаток знания, а его извращение. Он не невежествен, он вооружён, и именно этим пугает. Его оправдания звучат складно, логично, обоснованно, но под поверхностью нет ни стремления к истине, ни живого усилия мыслить. Есть лишь искусство обходить, переворачивать, размывать. В этом и заключается особая угроза: невозможно спорить с тем, кто не спорит честно, кто использует знание как ширму для безразличия или манипуляции.

Всё начинается с детства, где мысль подменяется дисциплиной. Общество из всех сил заботится о том, чтобы человек научился слушаться, подчиняться, не мешать. В школе важнее сидеть смирно, чем задаваться вопросами, правильный ответ ценится выше, чем оригинальный. Оценивается не процесс размышления, а умение угадывать желания взрослых. Это культивирует не мышление, а исполнительность, которая со временем превращается в устойчивую модель: лучше быть удобным, чем пытливым. Позже, столкнувшись с миром, человек не вспоминает, как искать путь, — он ждёт инструкции, не потому что глуп, а потому что долго учился этому способу существования. И когда потом

удивляются, почему взрослый не способен к независимому взгляду, почему не видит очевидного, — стоит лишь оглянуться на то, как его этому учили.

Честность, не вписанная в ритуал, всегда воспринимается как отклонение. И всякий, кто пробует говорить без оглядки, хотя бы раз чувствует, как мир отодвигается от него, как взгляд собеседника меняется, как воздух становится плотнее. Это мгновение узнаваемо до боли: голос звучит искренне, но сам человек ощущает, будто стоит в чужом наряде, на ярко освещённой сцене, не зная, смеются ли с ним или над ним. Тогда возникает ощущение клоуна — не того, кто шутит, а того, кто случайно оказался не в той роли. Быть честным в среде, где выживание связано с подыгрыванием, значит неизбежно попасть в противоречие. Честный человек, высказывающийся впрямую, словно забыв о правилах игры, становится слишком уязвимым — и именно это делает его смешным для тех, кто привык прятаться. Но в этом чувстве клоунады скрыта редкая подлинность: оно означает, что человек ещё не утратил способность к внутреннему несогласию, к боли за собственную правду, которую нельзя удержать молча.

Идиотизм становится не диагнозом и не стигмой, а культурной нормой, в которой эмоциональная реакция постепенно вытесняет способность к анализу. Время, погружённое в риторику чувств, перестаёт нуждаться в смысле как таковом — достаточно выразить, воспроизвести, отреагировать. Заменяв мысль моментальным откликом, общество получает идеального носителя поверхностного участия —

человека, способного испытывать гнев, восторг, страх или жалость по первому сигналу, но не склонного задумываться, откуда пришёл этот сигнал и зачем. Такой человек легко поддаётся направлению, потому что в основе его восприятия лежит не понимание, а переживание. Он чувствует вместо того, чтобы разбираться. И чем ярче это чувство, тем более оно ценится. Смысл же уходит на второй план, превращаясь в необязательный элемент, мешающий скорости и удобству коммуникации.

В этой системе особую роль играет стремление быть принятым, поддержанным, услышанным. Желание понравиться постепенно перерастает в главный мотив поведения, вымывая из личности всё лишнее — всё, что не способствует адаптации. Индивидуальность редуцируется до набора реакций, удобных для восприятия окружающих. Человек перестаёт быть собой, становясь функцией — интерфейсом, призванным вызывать одобрение, избегать конфликта, производить положительное впечатление. Всё, что вызывает сомнение, дискомфорт или требует личного усилия, замалчивается. Так из живого внутреннего мира формируется устойчивая, тщательно отлаженная оболочка, в которой нет ни риска, ни глубины — только рефлекс на ожидание.

Идиотизм в таком виде не означает отсутствия разума — он обозначает капитуляцию перед его возможностями. Интеллект при этом может быть развит, образован, даже остроумен, но остаётся отключённым, если его работа приводит к неудобным выводам. Это добровольный отказ от ответственности за мысли, сознательный выбор в пользу простоты. И не потому, что человек не способен

мыслить, а потому что привык не думать как способ избежать трения с миром. Отказ от мышления становится средством самозащиты, способом упростить сложное, замолчать сомнительное, забыть тревожное. Он предлагает комфортную слепоту вместо мучительного прозрения, и соблазн этой сделки слишком велик, чтобы ей не поддаться.

Жизнь идиота наполняется иллюзией постоянства и серьёзности. Он живёт так, как будто времени бесконечно много, будто каждое утверждение непреложно, будто каждое действие имеет значение само по себе. Он не сомневается, не двусмыслен, не тревожен по поводу последствий. Словно бессмертен, он двигается по жизни, не оглядываясь, не взвешивая, не подвергая анализу ни свои поступки, ни чужие. Всё воспринимается как данность — без релятивизма, без вопросов, без отступлений. Он уверен, потому что не допускает неуверенности. Он серьёзен, потому что не допускает иронии. Его мир ясен, как короткая команда — и в этом простом мире нет места для хрупкой, сложной правды, которая всегда требует усилия.

Когда постоянный поток дурных новостей проникает в повседневность, не оставляя ни одной зоны свободной от внешнего вторжения, начинается не просто информационное насыщение — начинается насилие. Оно не проявляется в привычной грубой форме, не сопровождается криком или явным нажимом, но его сила кроется в постоянстве, в непрерывности, в навязчивом присутствии. Каждое утро начинается не с пробуждения, а с включения. Экран, заголовок, срочная лента — всё это не даёт шанса на паузу. Сознание с первых минут оказывается втянутым в водоворот катастроф, угроз,

мнений, обвинений, смертей, цифр, разрушений. День за днём, без передышки, повторяется один и тот же жест: навязывание внимания.

Это насилие — тем страшнее, что оно одобрено, нормализовано, признано необходимым. Оно подаётся как долг, как участие, как обязанность быть в курсе. И каждый раз, поддаваясь этой логике, человек открывает себя для новой дозы страха, тревоги, бессилия. Отделить правду от манипуляции становится невозможно — даже если факт ясен, тон подачи отравляет восприятие. Всё важное подаётся в тоне катастрофы, всё обыденное — как угроза, всё возможное — как проигранное. И это состояние непрекращающейся тревожности превращается в форму постоянного внутреннего напряжения, от которого некуда деться, потому что оно не ощущается как чужое. Оно впитывается под кожу, становится нормой.

Поэтому усталость принимает новую форму — не просто утомления, а тихой тяги к исчезновению. Не к физической смерти, но к исчезновению как участника, как звена, как наблюдателя. Мир, в котором каждая новость — повод для отчаяния, неизбежно формирует образ конца как избавления. Не из-за страха, а из-за облегчения. И в этом нет пафоса — лишь изнеможение. Мысль о том, что всё закончится, утешает не потому, что хочется исчезнуть, а потому что невыносимо продолжать участвовать. Когда нет возможности повлиять, когда голос не нужен, а внимание используется как топливо — конец становится желанным именно потому, что он означает паузу.

Это не индивидуальное переживание, не личная слабость — это культурное явление,

распространяющееся, как вирус. Тотальная сопричастность всему, что происходит в мире, не даёт опоры. Слишком много боли, слишком мало возможности её переработать. Коллективное сознание, разогнанное до предела, уже не в силах уместить столько ужаса без утраты ориентации. И именно поэтому конец света больше не звучит как трагедия — он звучит как отдых. Как долгожданная тишина после нескончаемого шума.

Неосознанное, но систематическое подталкивание к самоистреблению происходит не через призывы и не через пропаганду, а через изнурение. Медийная машина, лишённая меры и тормозов, работает на истощение — капля за каплей, день за днём, превращая человечество в уставшую тень самого себя. Под видом осведомлённости распространяется паралич. Под маской участия — чувство полной беспомощности. Информация, изначально предназначенная для понимания и ориентации в мире, давно уже перестала выполнять эту функцию. Она теперь отравляет, подавляет, дробит внимание, вымывает энергию. То, что выдаётся за хронику событий, всё чаще становится хроникой разрушения, оформленной как привычная необходимость.

Медиа не просто сообщают — они организуют восприятие, они формируют эмоциональный фон, внутри которого человек живёт. И если этот фон ежедневно окрашен страхом, отчаянием, унижением, ненавистью, то с течением времени он перестаёт быть чем-то внешним. Он проникает вглубь, становится частью самовосприятия. Неважно, что именно произошло — всегда случилось что-то хуже, чем вчера.

В этом мире нет покоя, нет светлого, нет даже нейтрального. Каждое событие становится поводом для тревоги, каждый факт оборачивается сигналом опасности. И когда это длится годами, накапливается не просто усталость, а тихое внутреннее убеждение, что жить в этом невозможно. Что само существование превратилось в нескончаемую борьбу за психическое выживание.

Системность этого процесса не обязательно означает злой умысел — но она делает его не менее разрушительным. Даже если никто сознательно не принимает решение довести людей до крайней точки, сам формат медийной среды давно работает по законам, в которых катастрофа ценится выше стабильности, крик важнее тишины, тревога прибыльнее надежды. И пока это продолжается, каждый новый день добавляет в коллективное сознание ещё одну трещину. Медленно, незаметно, но неотвратно.

Человечество, втянутое в этот процесс, не сопротивляется. Оно приспосабливается. Оно учится жить в новостях, как в воде. Но в этой воде всё труднее дышать. И когда приходит мысль о том, что лучше было бы исчезнуть, она не вызывает шока. Она звучит, как логичное завершение утомительного сюжета, в котором никто уже не верит, что что-то можно исправить. Не хочется умирать — просто надоело быть. Надоело участвовать в бесконечном поглощении чужих страданий, в имитации сопричастности, в вечной тревоге без выхода. И, может быть, именно в этом кроется самая страшная вина медийного пространства — в том, что оно научило миллионы людей ощущать бессмысленность своей жизни без единого приказа.

Когда поток новостей обретает форму непрерывного фона, в котором теряются различия между значимым и случайным, возникает острое ощущение обесценивания всего происходящего. Сообщения, которые должны были бы направлять внимание, вызывать размышление, углублять понимание, постепенно превращаются в шум, состоящий из двух повторяющихся форм: глупости и гадости. Первая — обнажает интеллектуальную деградацию, вторая — эмоциональное истощение. Вместе они создают пространство, в котором трудно дышать, невозможно думать и бессмысленно искать опору.

Глупость — это не просто отсутствие смысла, а демонстративная небрежность в отношении к мышлению. Заголовки, оформленные как шутки, безумные заявления, безумные реакции на безумные заявления, анекдоты, переодетые в аналитику, — всё это постепенно разрушает представление о реальности как о чём-то, что можно осмыслить. Событие не важно само по себе — оно становится поводом для ещё одного витка бессмысленного обсуждения, полем для игры в перетягивание фраз. И чем более нелепа новость, тем активнее она разлетается, потому что нелепость вызывает мгновенную реакцию. В этой схеме нет места вопросу, нет попытки углубиться, есть только потребление — лёгкое, без остатка, без последствий.

Гадость же проникает из другого слоя — она не разрушает разум, а давит душу. Она напоминает о том, насколько человек уязвим, насколько разрушительна может быть власть, насколько легко опозорить, унижить, стереть. Это поток, в котором кровь, подлость, зависть и унижение подаются как норма, как естественная ткань

мира. Чем больше таких сообщений, тем сильнее чувство, что человек не может ни на что повлиять, что зло — не исключение, а правило, и сопротивление ему — лишь проявление наивности. Гадость, повторяясь, вызывает притупление, и когда даже самое чудовищное перестаёт удивлять, это означает, что система добилась своего: внутреннее сопротивление сломано.

В такой среде каждый день становится ещё одним витком бессилия. Каждая новость — не окно в мир, а удар в солнечное сплетение. Человек открывает экран не из интереса, а по инерции. И сразу же наталкивается либо на фарс, либо на грязь. Ничего между. Нет простых, честных слов о том, что происходит. Нет взвешенности, нет попытки разобраться. Только реакция, только вспышка, только шум. Всё остальное — слишком медленно, слишком тихо, слишком честно, чтобы выжить в этом ритме. И остаётся только одно: отступить. Не из страха, а из инстинкта сохранения. Потому что невозможно бесконечно жить в мире, где смысл постоянно предаётся, а сострадание превращено в товар.

Когда правда становится недоступной, извращённой, замещённой нескончаемым потоком чужих интерпретаций, возникает почти естественное искушение — если всё вокруг ложь, то почему бы не выбрать свою. Создать личную медийную реальность, где события разворачиваются в нужном порядке, где добро побеждает, где справедливость, пусть вымышленная, наконец торжествует. Эта ложь не пытается ввести в заблуждение, не имеет цели управлять, не продаёт ничего и никого — она, в отличие от внешней, откровенно признаёт свою искусственность. И в этом — странный парадокс: собственная фальшь

оказывается чище, чем коллективное «правдоподобие».

В такой конструкции можно вообразить новости, где всё сложилось иначе. Где те, кто причиняет вред, разоблачены и наказаны. Где усилия человека не обесценены. Где общество не погружено в апатию, а ищет смыслы. Где каждый день начинается с чего-то разумного, где больше нет пустых скандалов, инфантильных заявлений, наглой пропаганды и дешёвой драматургии. Мир, в котором можно просто жить, не ожидая удара от первой утренней ленты. С первого взгляда кажется, что это бегство, но на самом деле — это попытка сохранить чувство меры, там, где его больше не существует.

Разумеется, этот мир не настоящий. Но разве та реальность, которую ежедневно поставляют медиа, заслуживает большего доверия? Там ведь тоже нет полноты, только фрагменты, вырванные, смонтированные, поданные в нужной последовательности. Там ведь тоже история мира рассказывается по редакционной линии. И если выбор идёт не между правдой и вымыслом, а между двумя видами лжи — почему бы не предпочесть ту, которая лечит, а не калечит?

Создание собственной медийной реальности — не столько обман, сколько жест отчуждения. Это отказ участвовать в ежедневной симуляции чужих значений. Это попытка вернуть себе пространство, где хотя бы можно дышать, не чувствуя себя участником бессмысленного ритуала тревоги. И даже если это иллюзия — она хотя бы честна в своём происхождении. Человек признаёт: «Я выдумываю, потому что устал от лжи, навязанной как истина». И в этом акте — не только

защита, но и сопротивление.

Ведь ложь, выбранная сознательно, хотя бы не притворяется истиной. Она не требует поклонения, не навязывает себя как абсолют. Она — остров в океане чужого безумия, построенный не из фактов, а из потребности сохранить себя. Пусть даже временно. Пусть даже в одиночку.

Конформизм начинается с малых уступок — невысказанных мыслей, скрытых несогласий, отложенных вопросов. Он не навязывается силой, а предлагается как путь наименьшего сопротивления. Сначала кажется, что это просто компромисс, вежливость, терпимость к мнению большинства. Но с каждым новым согласием, продиктованным не убеждением, а страхом оказаться лишним, человек отступает от себя. Происходит медленное изгнание из собственного разума, когда сознание перестаёт быть местом внутренней свободы и превращается в арену согласования с внешним. Это добровольное изгнание не сопровождается драмой, не требует внешних указов — достаточно несколько раз промолчать, чтобы однажды уже не узнать собственного голоса.

В среде, где реакция важнее содержания, смех становится не следствием понимания, а необходимым жестом, подтверждающим участие. Тот, кто смеётся громче всех, нередко делает это не от удовольствия, а от желания не отстать, не выделиться, не быть тем, кто спросит: "В чём, собственно, суть?" Парадокс в том, что отсутствие смысла не мешает реакции — она возникает автоматически, встроенная в социальный ритм. И чем больше в человеке неуверенности, тем активнее он

воспроизводит заданную модель — смеётся, кивает, соглашается, потому что молчание может быть воспринято как претензия, как попытка поставить под сомнение общее. Смешно — значит безопасно. А понять — значит рисковать, выйти из общего ритма и услышать, как в тишине звенит фальшь.

Роль "хорошего парня" особенно мучительна тогда, когда сценарий, в который он помещён, лишён подлинного смысла. Быть вежливым, сдержанным, уступчивым в пространстве, где происходящее диктуется абсурдом, — значит становиться гарантом его устойчивости. Каждый акт доброжелательности, совершённый не от желания, а из чувства долга перед системой, цементирует её нелепость. Постепенно это превращается в ловушку: человек не может позволить себе быть резким, потому что привык быть одобряемым; не может отказаться от участия, потому что боится стать "плохим". И вот уже сценарий, в котором он играет, делает его не носителем смысла, а его заложником — вынужденным поддерживать сюжет, в который давно не верит, но без которого теряет место.

Под всей этой конструкцией внешней стабильности лежит не враждебность, как это часто представляется, а тонкая, обволакивающая извращённость. Она не проявляется в открытом насилии или агрессии — она действует через притворство, через мимику заботы, через лживую вежливость, через псевдоинтерес. Этот обман никогда не бывает прямым: он маскируется под искренность, он убеждает, что делает добро, он использует язык человечности для того, чтобы скрыть безразличие. Именно эта подделка, доведённая до совершенства, становится источником самой глубокой

усталости. Потому что она не вызывает сопротивления — ей хочется верить. Она действует не через страх, а через усыпление. И против такой силы трудно бороться, потому что на поверхности всё выглядит правильно, всё звучит красиво, всё будто бы на своём месте.

Когда коллективное мышление подменяется единообразным повторением, исчезает сама возможность размышления. В атмосфере, где все говорят одно и то же, согласие перестаёт быть признаком разумности — оно становится признаком отвыкания от анализа. Мнение больше не рождается из внутренней необходимости осмыслить, а воспроизводится по заранее заданной схеме, в которой любое отклонение воспринимается как угроза. Общая мысль становится ритуалом, где каждый участник подтверждает свою принадлежность не через размышление, а через подражание. И в этом унисонном хоре не остаётся пространства для сомнения, потому что сомнение — это одиночество, а одиночество больше не терпится.

Усталость, которая приходит от постоянного столкновения с идиотизмом, не является капризом или слабостью — это симптом пробуждения. Она указывает на точку, где человек начинает замечать фальшь, где больше не может примиряться с тем, что раньше проходило незаметно. Это не разочарование, а начало трезвости. Впервые появляется различие между внешним и внутренним: то, что ещё вчера казалось просто глупым, сегодня начинает восприниматься как опасное. Возникает потребность выйти из потока, отступить, чтобы вернуть себе способность видеть. И хотя эта усталость лишает лёгкости, она одновременно

даёт ясность. Через неё начинается процесс отрыва от общей массы, процесс болезненный, но необходимый, если человек намерен сохранить подлинное мышление.

Тем временем публичная глупость, не только терпимая, но и поощряемая, становится новой формой влияния. То, что ещё недавно считалось недостатком, теперь превратилось в удобный инструмент для сбора внимания. Чем проще высказывание, чем примитивнее реакция, чем короче мысль — тем выше шанс быть замеченным. Эта примитивность работает не против человека, а на него: она позволяет быть понятным всем, не рискуя вызвать внутреннее напряжение у аудитории. Поверхностность, доходящая до абсурда, перестаёт вызывать отторжение — она воспринимается как норма, как стиль, как способ выживания в обществе, где глубина уже не востребована.

Рост количества экранов, обещавших когда-то расширение перспектив, на деле оказался поворотом в сторону отражений, не дающих подлинной обратной связи. Зеркало предполагает возможность увидеть себя, распознать в чертах отражения собственное присутствие. Но экраны, множась, подменили эту функцию — они не отражают, они транслируют. Человек больше не смотрит внутрь себя, он смотрит на поток чужих образов, стремясь соответствовать, сравнивать, копировать. С каждым новым устройством, с каждым окном в мир становится всё меньше пространства, где возможно быть с собой наедине. Отражение заменяется проекцией, а вместе с этим исчезает точка отсчёта, откуда раньше начиналось понимание.

Тишина, сохраняемая тем, кто способен мыслить глубже

большинства, часто вызывает не интерес и не уважение, а раздражённое недоверие. В культуре, где ценится немедленная реакция, где слово должно быть быстрым, громким и однозначным, молчание становится вызовом. Оно интерпретируется как демонстрация превосходства, как неуместная отстранённость, будто человек, хранящий паузу, отказывается играть по общим правилам. На самом же деле в этой тишине часто содержится больше смысла, чем в сотнях сказанных вслух фраз. Это не уклонение, а сопротивление — попытка не вступить в ритм, навязанный внешней суетой. Но внешнее восприятие не терпит неопределённости: раз не говоришь, значит ставишь себя выше.

Смелость, столь часто ассоциируемая с открытым протестом, с ярким жестом, на самом деле проявляется тише, незаметнее. Жить не как дурак — это значит не соглашаться на лёгкие объяснения, не повторять чужих слов без попытки их осмыслить, не выдавать желание угодить за добродетель. Это значит ежедневно, без зрителей, без аплодисментов, сохранять способность к размышлению, пусть даже в одиночку. Такая жизнь не требует лозунгов, но требует стойкости: отказаться от привычных схем, не закрывать глаза на очевидное, не позволять страху подменить выбор. И этот путь оказывается куда труднее, чем публичный вызов, потому что требует постоянного усилия — не однажды, а ежедневно, в мелочах, в деталях, в словах, которые выбираются и в тех, которые остаются несказанными.

Цензура, лишённая внешнего диктата, начинает действовать внутри — тихо, постепенно, почти ласково. Сначала она проявляется как сомнение: стоит ли

говорить, не подумают ли что-то не то, не будет ли это «слишком». Потом приходит самоограничение, уже не как осторожность, а как норма. Мысль редактируется до произнесения, вопрос замолкает, не успев оформиться. Так внутренний диалог превращается в механизм самонаблюдения, где дозволенное отделяется от нежелательного не указом, а привычкой. Человек больше не нуждается во внешнем запрете — он сам научился фильтровать себя. И в этой способности к самозапрещению исчезает подлинное разнообразие, потому что всё неподходящее вычищается ещё до того, как проявляется.

За каждым взрослым, добровольно отдавшим разум на службу упрощению, когда-то стоял ребёнок, задавший слишком много вопросов. В тот момент, когда ему сказали: «не вдумывайся, это не важно», была прервана связь с естественным стремлением к пониманию. Этот отказ мог быть произнесён с раздражением или с заботой, в форме укора или защиты, но в любом случае он оставил след. Со временем ребёнок учится не задавать лишнего, не доводить до неудобства, не искать глубже, чем это удобно взрослым. И если это повторяется достаточно часто, формируется стойкий навык — отказываться от мысли в пользу покоя. Так появляется взрослый, который больше не помнит, когда перестал вдумываться, и не замечает, что отказ от сути стал его постоянной позицией.

Когда ни один выход не выглядит по-настоящему хорошим, когда каждый путь ведёт к потере, и даже молчание становится формой поражения, формируется состояние, которое невозможно назвать иначе как выученной беспомощностью — только теперь не в

рамках отдельного человека, а на уровне целого вида. Это не просто отсутствие надежды, а устойчивая привычка не верить в возможность перемен. Ощущение, что любое действие обречено либо на искажение, либо на бессмысленность, проникает глубоко — до самых основ восприятия мира. И когда это происходит повсеместно, когда миллионы людей из разных стран, культур, языков приходят к одному и тому же выводу — не стоит ничего начинать, потому что всё равно выйдет как всегда, — это уже не внутренняя проблема, а новая форма реальности.

Такой климат воспитывает особую породу сознания — в нём нет ярости, нет открытого протеста, только глухое, тягучее отчуждение. Это не бунт и не согласие, а отказ от выбора как такового. Беспомощность перестаёт быть реакцией и становится способом существования. Она маскируется под иронию, под усталость, под равнодушие. Её носители говорят о будущем с усмешкой, потому что всерьёз уже не ждут ничего, кроме повторения. Любая новость о возможном выходе — будь то технология, решение, идея — встречается сначала с сарказмом, потом с молчаливым отвращением. Не потому, что она плоха, а потому что внутренне никто не верит, что ей дадут состояться.

Это состояние не возникает внезапно. Оно растёт из десятков лет ложных надежд, обманутых ожиданий, бессмысленных реформ, решений, которые принимались за спиной. Оно питается памятью о том, как хорошо начиналось и во что в итоге превратилось. Поколения, воспитанные на разочарованиях, больше не ищут свет в конце тоннеля — они смотрят на тоннель как на окончательную форму пути. Пассивность становится не

признаком апатии, а логикой самозащиты: лучше не начинать, чем снова пройти весь круг и вернуться к точке, где был раньше, но уже с потерями.

В глобальном масштабе это превращается в паралич — не телесный, а духовный. Всё вроде бы работает, системы функционируют, люди передвигаются, общаются, строят. Но внизу под этой деятельностью — ничто. Ни в одном решении не чувствуется подлинного вектора, ни в одной реформе — веры в глубинное изменение. Всё делается «чтобы не хуже», «чтобы не развалилось», «пока держится». Жизнь превращается в поддержание формы при утрате содержания. И эта пустота уже не воспринимается как тревога — она стала привычной, почти уютной.

Так и рождается цивилизация, которая больше не верит в себя, но по инерции продолжает вращаться, как колесо без центра. Снаружи — движение, внутри — тихий отказ от ответственности. И, быть может, самое страшное в этом то, что многим такое положение кажется даже удобным: ведь беспомощный уже не должен ничего решать.

Когда мир ежедневно врывается в сознание через новости, заголовки, экраны, он делает это не как гость, а как оккупант. Он не стучится, не спрашивает разрешения — он требует внимания, захватывает его, дробит волю. Это не просто подача фактов — это метод вторжения, при котором человек перестаёт быть субъектом восприятия. Каждое сообщение, каждая новость будто шепчет: «Вот какой мир на самом деле, смотри, не пытайся понять — просто почувствуй, испугайся, согласись». Возникает иллюзия объективности, выстроенной из тщательно подобранных слов, нарочно

обострённых формулировок, фальшиво уверенных интонаций.

Но если бы была возможность переписать всё, что подается как «происходящее», почти ни одна строка не осталась бы нетронутой. Не потому, что люди стремятся к самообману, а потому что давно чувствуют: в поданной им картине мира нарушен баланс, искажен смысл, сломана логика. Человечество — не безликий потребитель боли, ужаса, глупости. И большинство внутри себя всё ещё помнит: реальность может быть сложной, противоречивой, полной, но не обязана быть уродливой и унижающей. Однако каждый день заново её навязывают, словно убеждая: «Это и есть жизнь, примиись, другого не будет».

Происходит не обсуждение мира, а его диктовка. То, что кажется формой диалога, давно стало формой контроля. Сначала навязывается язык, затем — интерпретации, и, наконец — сам опыт. Человек перестаёт доверять себе, своим чувствам, своему разуму. Он слышит о событиях и чувствует, что не может понять, как к ним относиться — потому что за него уже всё решили. Даже если возникает желание усомниться, оно тонет в общем хоре согласия, тревоги, иронии или цинизма. В этом коллективном шуме каждый сомневающийся звучит как фальшь.

И здесь возникает главный парадокс — почти никто не хочет продолжения такого мира, почти всем он в тягость, почти каждый в частной тишине признаётся себе, что хотел бы иного: простого, ясного, осмысленного. Но несмотря на это, он всё равно воспроизводится. Словно чья-то невидимая рука ежедневно нажимает кнопку: «ещё одна доза». И все, кто подключён к системе,

получают её. Даже если устали, даже если больше не верят, даже если физически не могут выдерживать. Прекращать — опасно, продолжать — невыносимо.

Навязанная реальность держится не на согласии, а на рассеянности, на истощении, на бессилии сопротивляться. Отсутствие единого центра, из которого исходил бы приказ — и делает эту систему особенно сильной. Это не заговор и не центр управления — это согласованная инерция, питаемая страхом остаться в стороне. Каждый, кто участвует, хочет немного другого, но продолжает говорить теми же словами, принимать те же формулировки, смотреть в ту же сторону, потому что иначе окажется «вне контекста». А мир, в котором нельзя быть в стороне — уже не мир, а механизм подчинения.

И пока не появится язык, на котором можно будет говорить о реальности иначе — этот механизм будет работать. Пока каждый не начнёт вслух сомневаться, переписывать, задавать вопросы — навязанное будет восприниматься как необходимое. И в этом, быть может, не самая тёмная, а самая трезвая мысль: всё ещё можно изменить, но только ценой отказа от привычного языка, от поданной картинки, от автоматической реакции. Только ценой молчаливого, упрямого несогласия с тем, что мир — это то, что диктуют каждый день из-за экрана.

Страх, исходящий от человека, уверенного в собственной нормальности, не в его действиях или убеждениях, а в самом устройстве его мышления. Такой идиот не кричит, не возмущается, не требует признания — он просто живёт в полной уверенности, что всё делает правильно, всё понимает верно, всё оценивает безошибочно. В этой уверенности нет колебаний,

потому что она не построена на сомнении, не прошла через проверку. Она возникла из одобрения среды, из привычки к одинаковым словам, из многолетнего следования общим правилам. И именно это делает её столь непоколебимой.

Опасность такого состояния в том, что оно закрыто для роста. Уверенность в собственной нормальности делает человека глухим к иным точкам зрения, нечувствительным к нюансам, неспособным к пересмотру. Он не задаёт вопросов, потому что считает, что уже нашёл ответы. Он не замечает противоречий, потому что привык к картине мира, где всё давно расставлено по полкам. Он не испытывает тревоги от неопределённости — напротив, любое отклонение от привычного вызывает у него раздражение и отторжение. Его представление о «здравом смысле» не связано с критическим мышлением, оно опирается на коллективное согласие, на тиражируемую норму, на устойчивые формулы, повторяемые из года в год.

Самое трагичное в этом — то, что такие люди искренни. Их глупость не демонстративна, она не вызывает смеха, не провоцирует конфликта, потому что она встроена в самую ткань повседневности. Эти люди могут быть вежливы, учтивы, даже образованны. Они могут говорить правильные слова, следовать формальным правилам, соблюдать приличия — но вся их внутренняя система координат построена на отказе от рефлексии. Им незачем размышлять — всё давно понятно. Им незачем слушать — они знают, что правильно. Им незачем меняться — ведь, по их представлению, проблема всегда снаружи, но никогда внутри.

Такой идиот не разрушает мир шумом, он растворяется

в нём. Он участвует в голосованиях, работает, растит детей, пишет комментарии, но его участие в жизни общества приводит не к его развитию, а к его стабилизации в самой примитивной форме. Он поддерживает порядок, в котором мысль считается избыточной, где сложность считается извращением, а сомнение — слабостью. И каждый раз, когда возникает возможность нарушить эту стабильность, именно он становится первым, кто требует возвращения к «норме», потому что не способен представить себе, что норма — это не истина, а просто привычка.

Роль шута, как бы она ни казалась свободной, на деле строго очерчена. Он может говорить остро, может насмехаться над сильными, может даже позволять себе то, что недоступно другим, — но только до тех пор, пока остаётся внутри дозволенного формата. Его слова кажутся смелыми лишь потому, что произнесены под маской. Но стоит попытаться выйти за пределы этой роли, отказаться от улыбки, нарушить ритм ожидаемого, — и система мгновенно отторгнет. Победить, находясь внутри, несложно физически, а невозможно структурно. Шут встроен в порядок вещей как элемент разрядки, как способ выпускать пар. Его допустимое несогласие не меняет систему, а наоборот — укрепляет её, создавая иллюзию гибкости. Это декоративное иносказание, за которым прячется железная необходимость быть полезным, развлекательным, безопасным. Попробуй стать собой — и теряешь право говорить.

Чувство усталости не связано с отвращением, оно глубже, тише и медленнее. Это не ненависть, а выгорание от постоянного присутствия в игре, где роли давно распределены, где каждый шаг предсказуем, где за

кулисами нет выхода. Участие в этом спектакле изматывает не тем, что требует усилий, а тем, что требует забвения. Чтобы оставаться в кругу, нужно непрестанно забывать, кем был до начала действия. Нужно соглашаться на реплики, которые никогда не были своими. Усталость приходит от повторения, от невозможности отклониться. Она накапливается, как тягучий шум, проникая в сны, в жесты, в паузы между фразами. Иногда кажется, что покой наступит лишь тогда, когда перестанешь быть наблюдаемым, когда можно будет просто существовать — без роли, без смысла, без ожидания.

И в такие моменты начинает брезжить странная зависть к тем, кто не видит всей этой конструкции. Кто живёт, не замечая её. Кто принимает упрощённые ответы как окончательные. Кто не задаёт вопросов потому, что не ощущает в них нужды. Их путь кажется прямым, их голос — уверенным, их взгляд — спокойным. У них нет тревоги перед несоответствием, перед фальшью, перед пустыми словами. Они не чувствуют стены, потому что никогда не искали выхода. И в этом молчаливом согласии с происходящим действительно есть нечто завидное: освобождение от внутреннего раздвоения, от постоянного напряжения между тем, что есть, и тем, что должно быть.

Но зависть исчезает, стоит лишь заглянуть глубже. За простотой, на первый взгляд ясной и цельной, слишком часто пустота. Не покой, не уверенность, не знание — именно пустота. Без внутреннего усилия, без сомнений и поисков остаётся гладкая оболочка, в которой нет содержания. Человек может говорить, действовать, даже добиваться успеха — но при этом не ощущать самого

себя. Его слова не связаны с размышлением, его выбор — с убеждением. Он не живёт, он течёт по руслу, однажды заданному другими. И когда это становится очевидным, исчезает всякая зависть — остаётся только необходимость не стать таким же, как бы тяжело ни было быть другим.

Смех, возникший на грани слёз, легко принимается за представление. Публика не распознаёт, что за этим смехом стоит, — видит лишь форму, а не суть. Когда улыбка становится единственным способом не разрушиться, она превращается в щит, а аплодисменты — в пощёчину. Те, кто наблюдают, верят в спектакль, не подозревая, что он был вынужденным. И тогда на сцене остаётся не актёр, а человек, застывший в роли, которой не хотел. Он смеётся, чтобы не сорваться, потому что слёзы никто не понял бы. Вокруг — одобрение, а внутри — отголосок предательства, совершаемого каждый раз, когда приходится быть не тем, кто есть.

Быть идиотом — не значит быть глупым, значит быть осторожным до предела. В мире, где любая мысль может быть воспринята как угроза, где слово слишком легко превращается в мишень, отказ от мышления становится бронёй. Простота речи, поверхностность взглядов, безбидность поведения — всё это не от недостатка разума, а от глубокой интуиции: размышляющий слишком заметен, его неуютно слушать, его неудобно поддерживать. Поэтому идиотизм становится укрытием — привычным, проверенным, массовым. Под его покровом можно жить, не выделяясь, можно участвовать, не сомневаясь, можно чувствовать себя своим, не открываясь. Это не бегство, это техника выживания, отточенная многими поколениями.

Шут рождается не из желания насмешить, а из невозможности хранить молчание. Он не извергает истину, он пробует быть услышанным хоть как-то, через иронию, через двусмысленность, через кривое зеркало. Его слова порой звучат легкомысленно, но за этой лёгкостью — попытка спрятать боль от собственного онемения. Он ещё не может говорить прямо — язык честности слишком тяжёл, слишком рискован. Он делает вид, что играет, потому что так безопаснее. Но в каждом его жесте — напряжение, в каждой смешке — тоска по той речи, которая пока невозможна. Его не понять до конца, потому что сам он ещё не знает, что именно хочет сказать.

Коллективная иллюзия, в которой удобно жить, имеет общее правило — не разрушать представление. Идиотия не строится усилием одного человека, она поддерживается всеми одновременно. Каждый делает вид, что верит, чтобы не быть первым, кто усомнится. Потому что тот, кто сомневается, оказывается за пределами — не столько мысли, сколько принадлежности. Иллюзия даёт тепло, даёт ощущение близости, даже если оно ложное. Разрушить её — значит остаться в тишине, где нет ни ролей, ни зрителей. Поэтому игра продолжается: каждый притворяется, чтобы другой не почувствовал себя одиноким. И даже осознавая фальшь, никто не рискует сорвать декорации, потому что страх остаться без роли сильнее, чем желание сказать правду.

Но иногда желание сбросить маску прорастает сквозь эту систему притворств. Не из гордости, не из стремления к превосходству, а из глубинной потребности — просто быть. Не выше, не ярче, не умнее — просто собой. Без

грима, без напоминаний о том, каким следует быть. Быть не ролью, не функцией, не отражением ожиданий — а телом, голосом, живым взглядом, в котором нет намерения произвести впечатление. Эта потребность не громкая, но упрямая: она не требует трибун, она просит тишины, в которой можно дышать без напряжения. Это не бунт и не протест — это возвращение домой, туда, где лицо остаётся лицом, а не маской, слепленной из чужих взглядов.

БИБЛИОГРАФИЯ

Kruger, B. (2025). *Manufactured despair: Media saturation, learned helplessness, and the crisis of perception. The Common Sense World.*

Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation.* University of Michigan Press.

Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media.* Pantheon Books.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The dynamics of the cultivation process. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), *Perspectives on media effects* (pp. 17–40). Lawrence Erlbaum Associates.

Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ.* Bantam Books.

Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), *Culture, media, language* (pp. 128–138). Hutchinson.

Klein, N. (2007). *The shock doctrine: The rise of disaster*

capitalism. Metropolitan Books.

McLuhan, H. M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.

Postman, N. (1985). *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*. Viking Penguin.

Seligman, M. E. P. (1975). *Helplessness: On depression, development, and death*. W. H. Freeman.

Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. Basic Books.

Williams, R. (1974). *Television: Technology and cultural form*. Fontana.